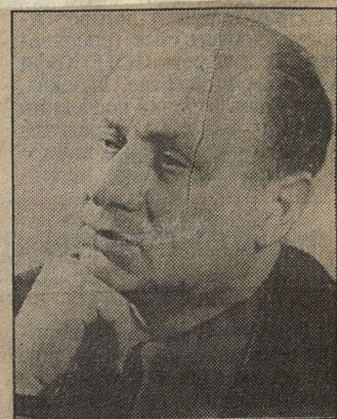


Виктор Розов:

Я и в палате смертников был веселый

Известия - 1998 -
19 августа - с. 4.



В молодости Виктор Розов работал на фабрике. Воевал, был ранен и вернулся домой калекой; писал пьесы, которые никто не хотел ставить, бедствовал, голодал. Случилось чудо: человек, от которого, как от назойливой мухи, отмахивались завлиты, стал самым известным драматургом страны. С Розовым спорили, Розова цитировали, Розовым восхищались... Двадцать первого августа ему исполняется 85 лет.

Сейчас мир Розова съезжил-ся до размеров комнаты. Кресло, письменный стол, постель; под боком пищит упитанная морская свинка Патрик, подарок внучки... Патрика пересаживали в коробку, и корреспондент спросил:

— Виктор Сергеевич, чем вы занимались «розовские мальчишки», окажись они в сегодняшнем времени? Ваш герой воевал бы с новыми русскими и полосовал пашкой дорожную мебель или же этой мебелью торговал?..

— Он был бы фрондером. Старался бы остаться самим собой.

Я тоже всегда был вне партий.

— Это продолжается до сих пор, или кто-то из современных политических деятелей вам все-таки близок?

— Я сторонник тех, кто мыслит здраво. И я всегда на стороне бедных.

— Кто же выражает их взгляды?

— Никто. Идет политическая борьба, участники которой преследуют свои интересы. К нуждам огромного большинства народа она не имеет никакого отношения. От них, на мой взгляд, далека даже церковь. Ей чересчур сильно досталось за годы советской власти, она до сих пор не может опомниться от унижения и погрома.

— Когда произошла революция, вам было пять лет, СССР вы уже пережили на шесть. История страны прошла на ваших глазах: приходили новые поколения, другими становились театральные звезды и киногерои, менялся человеческий тип. Это движение идет вверх или вниз, сильно ли измельчали люди?..

— Об этом хорошо сказал Некрасов:

«Нам известность,
нам мода нужна.
Знаток нашей нации
Порешили
разумным судом,
Что цинизм твой
доходит до грации,
Что геройство
в бесстыдстве твоём...»

Сейчас геройство в бесстыдстве, и на людей это хорошо не влияет.

— Я человек сравнительно молодой, но 70-е годы вспоминаю как время тотального хоровода лжи. Было лишь два выхода: заткнуться и принять в нем участие или пойти в дворники — и тоже заткнуться.

— Это не так. Я жил не в лживом обществе. И меня окружали хорошие, честные люди.

— К общественной жизни это отношения не имеет.

— А я ей никогда не жил. И не думал о том, кто сидит у нас наверху. Когда был маленьким, знал, что есть Ленин, потом узнал о Сталине, а до их преемников мне дела не было. Они существовали в другой галактике, и я в нее не навещивался. Летает вокруг Земли ракета с космонавтами — и пусть себе летает, а я тут при чем? Я жил в другом мире, и он был замечательным.

— Вам не кажется, что вы бежали от действительности?

— Я ни от кого не бежал, меня это просто не интересовало. Так же, как сейчас меня не интересует перестройка армии, — что мне до того, насколько изменится военная форма? Красный флаг сменился трехцветным, а для меня ничего не переменялось. Что, скажите на милость, это могло внести в мою жизнь?

— Вы хотите сказать, что в жизни есть очень глубокие вещи, которые важнее и политической надстройки, и отношений собственности?

— Совершенно верно. Хотя сейчас, когда пришла пора нашего загадочного капитализма, от политики и экономики спрятаться трудно.

— Почему же «загадочно-го»? Не хотели бы вы об этом написать?

— Потому что я не могу понять, откуда у сегодняшних миллиардеров, бывших комсомольских вожakov, взялись деньги.

Но это меня не интересует. Я больше ничего не пишу и

не буду писать — я слишком стар, в моем возрасте нельзя сочинить ничего, кроме бреда. Лев Толстой был моложе меня — он умер, когда ему было всего восемьдесят два года, — но уже писал полную ахию.

Конечно, если бы я работал на своем прежнем уровне, то любой театр с удовольствием бы меня поставил. Но у меня больше нет желания писать пьесы — что поделаться, не сочиняется. Ведь пьесу нельзя придумать, она появляется сама, как ребенок, а ты ее вынашиваешь, рожаешь и долго не решаешься написать слово «конеч».

— Но ведь это трагедия?

— Нет. Я это принял. Если бы во мне остался дух творчества, я бы писал. Но его больше нет.

— Меня поражает то, как спокойно вы это говорите. Со смирением принять судьбу — христианская добродетель, а ведь вы, по-моему, не христианин...

— Я хороший христианин, но очень плохой верующий. Мой диалог с Богом идет один на один.

— Значит, вы веруете не в Бога Православной церкви, а в идею высшего существа?

— Именно так. Но если вы назовете его Богом, я возражать не стану. Я — человек судьбы, мне абсолютно ясно, что божественное предопределение существует. За свою жизнь я испытал много высоких радостей и глубочайших страданий и дивлюсь тому, что я еще живу. Я три раза умирал и все еще на этом свете — значит, я что-то еще должен сделать...

— Что же вы должны?

— Не знаю. Что-то сказать, написать... Кому-то помочь.

— Кому вы помогаете?

— Раньше, когда я еще не был пенсионером и зарабатывал много денег, я помогал всем моим родственникам, которые жили бедно. Я мог построить дачу, купить квартиру и машину, но ни в одну из деноминаций и денежных реформ я не потерял деньги. После сталинской реформы я лишился рубля, после хрущевской — сотни. В последнюю реформу я вообще ничего не потерял.

— И при этом вы не построили дачу, не купили квартиру и машину...

— Я построил хорошую дачу, купил отличную квартиру, и у меня была такая машина, на которых ездили только члены ЦК. С этим, кстати, был связан один курьез.

В начале шестидесятых Хрущев запретил использовать государственные машины в частных целях. На ЗИМах — и на базар: какое кошунство! А у меня был свой ЗИМ, я за него в магазине сорок тысяч отдал. И я на нем ездил на рынок. И вот в один прекрасный день выхожу я с Центрального рынка, а около моего водителя стоит милиционер.

— Это ваша машина?

— Моя, а в чем дело?

— Это что, собственная ваша машина? Вы ведь, наверное, должность какую-то занимаете?

— Нет, — отвечаю, — я ее купил в магазине. Могу документы показать...

Он покачал головой и отошел. А с машиной, которую мне недавно дал собес, вышла совершенно прелестная история. Полагалась «Таврия», но их перестали выпускать — я немного доплатил, взял четвертые «Жигули» и оформил доверенность на зятя.

И что же? Ее угнали. И, что самое смешное, произошло это первого апреля.

— Хорошо, что вы смеетесь, — я бы на вашем месте плакал... Послушайте, но ведь вы были новым русским тогда, когда их и в помине не было. ЗИМ у Центрального рынка — это ситуация для «Крокодила». Вот только драматурга надо было бы заменить на спекулянта.

— У спекулянта не могло быть такой машины. Спекулянт столько не зарабатывал.

— Вы сказали, что вам знакомы величайшие страдания. Что это было?

— Боль после ранения. Пока меня перевозили с фронта в госпиталь, я пытался что-то записать, и получалось одно слово: «боль», «боль», «боль»... Потом нас положили в каком-то подвале: я пришел в себя и удивился тому, что состою из одних костей. Самым толстым местом во мне были колени. Таких худых людей я больше не видел никогда.

— А что было величайшим счастьем?

— Величайшее счастье — моя любимая, моя любимая жена. Дети, внуки. Величайшее счастье сама жизнь... А писать пьесы не счастье, а удовольствие, тут разница большая.

— Значит, вы не можете сказать, что творчество было смыслом и целью вашего существования?

— Конечно, нет. Я писал только тогда, когда хотел писать. Никогда не делал этого по заказу, не заключал никаких договоров, не брал авансов. Я не профессиональный писатель, я ничего не изучаю. Один раз решил изучать жизнь, взял билет и поехал в Днепропетровск смотреть, как плавят сталь. Посмотрел две плавки и уехал обратно. Потом я, дурак, решил изучать рабочий класс. Меня познакомили с очень хорошим, талантливым парнем, токарем седьмого разряда, и я начал его изучать. И написал очень плохую пьесу. Вот так я понял, что изучать ничего не надо, надо брать то, что влетает в голову помимо твоих воли и сознания. «Что-то пронесится перед глазами, и на это что-то надо жадно накинуться». Флобер.

— А что было самым сильным духовным потрясением?

— Смерть близких. У нас в роду никто не доживал до шестидесяти лет — хоронишь и хоронишь... А в остальном — даже и не знаю.

— Выходит, у вас была счастливая жизнь?

— Вы считаете, что счастливый человек может пролежать восемь месяцев в гипсе с газовой гангреной? А впрочем, я и в палате смертников был веселый. Шутил, рассказывал разные истории... А солдатики рядом лежали простые, наивные, как дети: о Лермонтове слышало полпалаты, о Достоевском никто не знал. Я им читал стихи, пересказывал романы, а они величали меня «товарищ политрук»...

Да, я счастлив. Счастлив потому, что живу душой. У нас говорят: «В здоровом теле — здоровый дух», а это неправда. У Локка, философа XVII века, книга «О воспитании» начинается так: «Здоровый дух в здоровом теле — вот истинный предел счастья, возможного в этом мире». Дух

у меня здоровый даже сейчас, а вот тело, к сожалению, немощное. Так что полного счастья нет: я не могу выскочить на улицу за газетами, съездить в гости, лишний раз сходить в театр...

— В нашей стране быть счастливым наполовину уже огромное счастье. У меня много друзей, молодых, сильных, состоятельных людей, которые чувствуют себя глубоко несчастными...

— Не душой живут. Душа должна все время трепетать и радовать тебя своими движениями. У меня она замирала два раза — ах, как это страшно! В пятидесятые годы я подхватил инфаркт и ушел в болезнь. Есть такое русское проклятие: «Чтоб тебе пусто было!». Вот мне и стало пусто, все, что я любил, вдруг потеряло цену: маленький сын, книги, успех... Воскресила меня любовь жены. Во второй раз это настигло меня в Крыму: я был богат, извещен, отдыхал вместе с друзьями... И вдруг все пропало: ничего не случилось, а мне стало пусто. Жена пыталась вывести меня из этого состояния — порадовался, улыбнулся, давай сходим в ресторанчик... Нет, не могу, мне пусто. Она все же вытащила меня на концерт: открытая эстрада, морозящий дождичек, нервной походкой выходит Рихтер... Душевная хмарь испарилась при первом же аккорде, домой я возвращался вприпрыжку. Нечто подобное произошло со мной на гастролях «Ла Скала», когда Леонтина Прайс пела «Реквием» Верди. В Большой театр я пришел с температурой под тридцать девять, а вышел из него абсолютно здоровым.

...И позвольте мне напоследок кое-что сказать вашим читателям. «Известия» пожелали мне долгих лет, а я желаю подписчикам газеты сохранить себя в божественном образе, сберечь свою индивидуальность и душу. Запачкать ее легко, отмыть трудно. А бездушный человек способен на самые ужасные поступки...

Алексей ФИЛИППОВ.